

Рима РЮМЕР
(Марина ЛИШАНСКАЯ)
Германия



СРЕДА КАК ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Письмо от Кондьи пришло в начале десятого, и я читала его, стоя у компьютера босая, растрепанная, в халате, с ополовиненным стаканом апельсинового сока в руке.

Как всегда, это было письмо-эссе, письмо-настроение: никакой информации, никаких событий, никаких точных, дословных описаний.

Но перед моими глазами возникла картинка: раннее серенькое фленсбургское утро, такое раннее, что даже во Фленсбурге еще почти все спят и улицы почти пустыньны. Я увидела, как Кондья выходит через неприметную дверь «Для персонала», садится в черный («телесного цвета») «Сааб» и медленно едет в сторону Мюр-

вика. Серенькое утро, неизбывная сырость Фленсбурга, моросящий дождик («Какой климат во Фленсбурге? – Январь, февраль, март, апрель, апрель, апрель, апрель...»).

Машина припарковывается у булочной, открывающейся в шесть утра. Кондья выходит из машины, встает в пока еще небольшую очередь, покупает круассан, потом снова садится в машину, и «Сааб» сворачивает с уже просыпающейся Мюрвикерштрассе на еще совсем сонную Тильзитерштрассе.

Вот он припарковывается у трехэтажного белого дома, открывает почтовый ящик с труднопроизносимой фамилией, поднимается в мансарду...

Квартира такая маленькая, что кажется: когда он сидит в гостиной на диване, его длинные ноги должны упираться в противоположную стену, ту, на которой висит телевизор (а больше в гостиной ничего и нет).

Он идет на кухню, заваривает кофе и с чашкой в руке проходит в спальню. Широкая кровать, стол с компьютером, велотренажер... Ставит простую белую чашку грубого фарфора на стол возле компьютера. Круассан лежит прямо на столе, потом придется

смахивать неизбежные крошки... Он включает компьютер, пишет мне – как всегда, раз в неделю, по средам, нажимает «отправить».

К этому моменту кофе выпит, круассан съеден. Сигарету он выкурит в кухне, а потом задернет тяжелые фиолетовые шторы и ляжет спать.

Я видела это, хотя Кондья ничего не описывал, слышала тишину фленсбургского утра и кожей ощущала его сырость.

Я допила сок и, так и не присев к столу, выключила компьютер.

Картинка стояла перед глазами, и все утренние дела делались машинально. Хотя какие дела у не-

работающей женщины? Какие у нее проблемы? Фитнес-язык-педикюр-психотерапевт?

Ладно, поедем на аквафитнес.

Хлопья снега на ветровом стекле. Застучали, как метроном, «дворники».

Голубоватая вода бассейна, бодрая музыка, жар сауны — и за всем этим — туманная дымка фленсбургского утра.

Между фитнесом и немецким — пауза, но — не перечитывать, пока еще не пора.

И не думать, а чтобы не думать — музыка, еще громче, еще. И никаких наушников, плевать на соседей — мне нужна музыка, звучащая повсюду, музыка, в которую я погружаюсь целиком, как в ванну, а не музыка-инъекция.

...Сообщение от мужа: задерживается, работает, будет позже.

Все по-честному: действительно работает. Никаких девочек с грудочками-попочками и глупыми звонками мне домой и вопросами-скандалами мужу.

Вот теперь могу сесть за компьютер, перечитывать. И картинка, потускневшая за день, снова сфокусировалась, стала четкой.

И я начала создавать свою картинку, торопливо писать, от спешки нажимая не на те клавиши и делая ошибки (потом, потом исправлю!).

Мне хотелось, чтобы он увидел снежные кляксы на стекле — и понял, почему я так бесконечно могу говорить о снеге, почему у меня — совсем как у эскимосов — есть не менее ста обозначений снега, совсем разное для этих клякс на ветровом стекле — и для плотного, утрамбованного снега под ногами на городских тротуарах, для липкого снега, из которого так хорошо лепить снежки и снеговика, — и для пушистых сугробов, для ключей крупы, бьющей по лицу, — и для той маленькой кружевной снежинки, которую пристально рассматривала на своей красной варежке моя дочь. Мы стояли тогда у протестантской церкви в Рованиemi, и, рассматривая эту снежинку, Майлиз сказала удивленно и серьезно, как говорят об открытии: «Я всегда думала, что снежинки просто рисуют такими резными, а оказывается, они такими бывают на самом деле».

Я хотела, чтобы он увидел маленький полутемный зал, жесткие неудобные стулья, сцену в нескольких шагах от зрителя, почти незагримированных актеров — и почувствовал жуть

фразы: «Они нас такими видят, а мы себя такими чувствуем», по крайней мере, ту жуть, что тогда охватила меня.

Чтобы увидел плохо изданную книгу Шлинка и понял, почему меня как будто ударило словами: «Почему самые прекрасные события теряют задним числом свою прелесть, когда обнаруживается их подноготная? Почему воспоминания о счастливых годах супружества оказываются отравленными, когда выясняется, что у супруга на протяжении всех тех лет имелась любовница? Потому что якобы подлинное счастье при таком раскладе невозможно? Но ведь оно же было! Иногда воспоминания не могут сохранить своей верности пережитому счастью лишь потому, что его конец причинил нам страдание. Неужели счастье, чтобы стать подлинным, должно быть вечным? Разве страданием кончается только то, что было им всегда, хотя прежде боль не ощущалась и не осознавалась?»

Я пыталась передать всё, что видела на этой неделе и что прочитала, что слышала и ощущала кончиками пальцев, пробовала на вкус и запах, прочувствовала и продумала, я хотела, чтобы это, продуманное и прочувствованное, увиденное и услышанное, ощущаемое всем моим существом, стало не только моим.

И я успела об этом дописать, а затем перечитывать, выправить опечатки и отправить — до того, как открылась входная дверь.

Традиционно подставленные для поцелуя наши щеки.

Традиционно-буднично: «Ужинать будешь?»

Традиционно: «Я еще поработаю».

Запоздало-традиционно: «Как твой день?»

Снисходительно-традиционно (о чем можно говорить с домохозяйкой? О способах приготовления манной каши?): «Хорошо».

Он ушел еще поработать, а я еще немного посидела за кухонным столом, восстанавливая фленсбургскую картинку, которой должно было хватить на целую неделю, до следующей среды. Потом убрала со стола, помыла посуду и пошла в душ.

От бесконечного облучения — солярий-пляж-солярий — кожа на плечах стала не только более темной, но и более плотной и более блестящей, и я порадовалась своей сопричастности.



СЛИШКОМ КРАСИВЫЙ ПЕЙЗАЖ

Вечнозеленый деревянный забор. Справа, посреди аллеи — бюст Ленина. Слева, посреди клумбы — пионер с горном. А за пионером — небо, необыкновенно розового цвета, розовато-лиловое, и на этом розовом фоне — черные сосны, прямые, четкие, словно нарисованные одним движением твердой руки.

— Знаешь, нарисуй художник так — не поверят, скажут: так не бывает, слишком красиво, приукрасил.

Мы еще какое-то время стоим возле пионера, смотрим на черные сосны на розовом. Конечно, не поверят. А жаль.

В то время я часто выступала перед читателями: в школах, училищах, техникумах, санатории. Не помню уже, сколько за это платили, но

тогда это были приличные деньги, на которые можно было жить дня два.

И выступать в общем-то было даже интересно. Я только страшно не любила вопрос:

— А это всё так и было, как вы пишете, или вы придумываете?

Иногда говорили: «Выдумываете из головы». Этот вопрос задавали все и всюду: в школе, в техникуме, в санатории. Так же, как актера на встрече с публикой всегда спрашивают: «А как вы решили стать актером?» и «Как вы работаете над ролью?»

Как ответить на этот вопрос?

Правда, соединенная с выдумкой, переработанная правда — отвечала примерно так.

А как ответить самой себе?

Мы ведь и в жизни частенько привираем, выдавая вместо правды «правду, соединенную с выдумкой», «переработанную правду».

Но я обратила внимание, что люди привирают совершенно по-разному. Большинство — приукрашивая свою жизнь, добавляя в нее то, что им не хватает в реальности: благосостояние, мужа-детей, любовника-миллионера, московскую прописку, славу и почет. Я тоже иногда привираю, но не выдумывая каких-либо необыкновенных деталей, а, наоборот, сводя всё к некому усредненному, среднестатистическому варианту, например, на курорте выдаю себя за медсестру или учительницу, разведенную с пьяницей-мужем — что может быть типичнее для России?

Так же и в моих рассказах: никаких невероятных происшествий, ничего выходящего за рамки обычного. Почему? Наверно, потому, что правда подчас слишком литературна — «не поверят».

Четырнадцать лет. Первая любовь. Первый мужчина. Первые серьезные, «взрослые» разговоры о том, как это будет потом. Как будет? Ну, конечно же, мы поженимся, мы будем вместе всегда-всегда, и, конечно же, у нас будут дети. Четверо — два мальчика и две девочки.

Но если мы будем вместе всегда-всегда, почему я говорю тебе: «Мой первый ребенок будет от тебя»?

Мы можем пожениться только через четыре года, и на обложках дневников того времени я считаю дни до нашего восемнадцатилетия.

Но так же, как она была против меня в четырнадцать, твоя мама против меня и в восемнадцать. Почему? По кочану. Чем объясняет? Ничем.

А в двадцать ты женишься на... Ну, не важно.

Я хочу умереть, но не знаю — как. То есть не знаю, что и как практически сделать, чтобы перестать жить. Поэтому я не умираю — но и не живу этот год. Я пропускаю год в университете: я физически не могу туда ходить и видеть тебя на наших общих лекциях, я не умираю, но умру, если тебя увижу, если услышу, как ты смеешься, а если ты что-нибудь скажешь мне, хотя бы поздороваешься — точно умру.

Потом это как-то затихает. Забывается. Забывается. Выбывается — так трафаретно! — клин клином. И еще клином. И еще.

Мне двадцать два. У меня нет и не может быть детей — я всегда за всё плачу полной мерой. Хотя это, наверно, и справедливо: зачем мне дети, если у меня не может быть наших детей?

Мне тридцать лет. Пятнадцатое сентября — когда-то в этот день ты впервые назначил мне свидание у универмага «Карелия», в семь, и я бежала к тебе по лужам, в смешном синеньком плаще, переделанном из мамино.

Этот сентябрь — сухой и теплый.

Я иду со стадиона с теннисной ракеткой. Мне тридцать. Я свободна, я успешна, у меня все хорошо. Мои дневники того времени свидетельствуют об этом. И еще о том, что меня любит Армен. И другие мужчины иногда любят тоже — в дневниках проскальзывают еще чьи-то имена.

Сейчас я приду домой, выпью разбавленного водой сухого красного вина, включу музыку — я всегда пишу под музыку — и сяду за письменный стол. Я почти дохожу до своего дома, когда встречаю тебя.

Я давно больше не умираю, когда вижу тебя и слышу твой смех. И даже когда ты говоришь со мной, я тоже не умираю.

А в этот день я просто беру тебя за руку и при-

вожу в свою квартиру — потому что сегодня пятнадцатое сентября, как и тогда, когда ты впервые назначил мне свидание. У меня нет никаких планов, я не знаю — зачем. Говорить с тобой? Любить тебя? Быть вместе всегда-всегда? Родить детей — двух мальчиков и двух девочек?

Но у меня больше не может быть детей.

Я не знаю, куда исчез с того дня Армен — в дневнике о нем с того момента, как я в три часа дня встретила тебя около своего дома, долгие годы нет ни слова. О других мужчинах тоже. Только о тебе.

Через девять месяцев рождается наша дочь. «Первый ребенок у меня будет от тебя». Что ж, я всегда была человеком слова.

Первое интервью со мной как с писательницей взял радиожурналист Николай Исаев. Меня тогда прямо распирало от гордости: и от того, что впервые — «как у писательницы», и от того, как удивительно умно я отвечала на его вопросы.

Только потом — когда были и другие интервью, и другие журналисты — до меня дошло, что тот, кому задают вопросы, отвечает умно обычно тогда, когда его к этому подводят. Просто Коля был очень профессиональный, умный журналист и доброжелательный человек.

Позже мы подружились, встречались и разговаривали просто так, не для радиопередач. Даже когда я вышла замуж и уехала за границу, иногда перезванивались. А когда я приезжала в свой город, Коля был одним из первых, кого мне хотелось увидеть.

Те годы, что я жила в Германии, были горестно богаты потерями. Словно чума косила еще не старых людей. Уходили друзья, одноклассники, дворовые приятели детства.

Но мне казалось, что Коля будет всегда — по крайней мере, пока буду я.

В один из приездов он взял у меня интервью. Последнее мое интервью как у писательницы. Потому что через год он умер. Заколыцевалось.

Роман с моим мужем развивался медленно-медленно. В любой другой ситуации все бы давным-давно определилось: или любовники, или друзья, или никто. А тут — как в менюэте. Поездка в Лангбаллигау, неспешная прогулка по пляжу, кофе и мороженое на открытой террасе. Обед

в «Грундхофкруг». Поездка на пароме в Данию. Симфонический концерт в гобеленовом зале замка Глюксбурга. Поездка в Зеебюль, в дом-музей Эмиля Нольде. Поездка в Шлезвиг, в замок Готторт... И почти месяц: «герр Рюмер» — «фрау Лисицки». Наконец в ресторане, где мы обедаем вдвоем — он, я и моя восьмилетняя дочка, он церемонно-вежливо просит разрешение перейти на имена («разумеется, оставаясь на вы»).

И пишет на салфетке: Ма-рина, Ма-нфред, Ма-йя, удивляясь совпадению, созвучию имен.

А ведь существует еще Ма-ртин, его сын.

И сам Манфред — «марине офицер».

Слишком литературно. Не поверят.

Надо бы называть себя как-то по-другому. Но как?

Из тех давних пор, где остались Хэнк, Майк и тому подобные, мое «шпицнаме» — Леа. К счастью, я не успеваю ему об этом сообщить. Потому что он говорит мне свое «шпицнаме», и я чуть не падаю со стула: его «шпицнаме» — Лео!

О моем прозвище дочь не знает. Через несколько лет — какой-то девичий разговор.

— Интересно, как ты назвала бы своих детей? — спрашиваю я.

— Девочку — Леа, мальчика — Люц, — уверенно отвечает моя дочь.

«Леа» меня не удивляет, хотя и «не поверят», а вот откуда взялся Люц? Я начисто забыла, что это просто северный вариант одного старомодного имени, которое так долго было у меня на слуху и на языке.

Мы познакомились с мужем восьмого апреля. Это — день смерти моей бабушки, которая когда-то в детстве так много значила для меня и чье имя — София — записано в моем паспорте вторым именем.

Двадцать девятого декабря поженились. Обычный день, с которым ничего не связано, никаких ассоциаций. Разбираю домашние архивы и обнаруживаю, что на самом деле день рождения бабушки не одиннадцатого января, как позже, после войны, было записано в паспорте, а двадцать девятого декабря.

Мы познакомились с мужем восьмого апреля. Двадцать девятого декабря поженились и обвен-

чались в Иоханнескирхе. Пять лет прожили в Германии, затем два года в России, ни разу за это время не съездив на родину мужа.

Через два года, весной, муж собрался съездить домой. Мы всё распланировали: сначала он едет один, снимает квартиру для нас на лето, мы приезжаем к нему, как только дочь выйдет на каникулы, а осенью всей семьей вернемся обратно.

День, когда муж уехал из города, — восьмое апреля.

Целую его на прощание, улыбаюсь, желаю счастливого пути, позвони, как доедешь, днем лежу в сауне, вечером крашусь, надеваю любимое черное платье и жемчуг и иду в театр. И всё это время знаю: не вернется. Заколыцелась.

Какая тяжелая зима!

Я пользуюсь тем, что мороз за тридцать, и почти не выхожу из дома. На самом деле не выхожу, потому что «не выходит».

Это называется «агедония». Ничто не радует.

Все собеседники — дураки. Все фильмы — скучные. Еда — пресная. Ничего не хочется. Всё прочитано, всё видно, всё сказано.

Новый год отмечаю с одинокой сорокалетней соседкой, которой некуда пойти — не всё ли равно? На пароме «Силья лайн» ездила уже десяток раз, в Лапландии была, в Париже — тоже, в Таиланде не была, но и не хочу — скучища.

Флирт? Скучища!

Секс? Какая чепуха! Что прибавит к испытанным тысячам оргазмов еще десяток или сотня?

Работа — переводы, диссертация — стоит.

Рассказы? Когда я писала последний раз?

А то, что написано за жизнь — в самом низу штабеля картонных коробок, в самом дальнем углу бывшей детской, превращенной с отъездом дочери в кладовку. Чтобы и глаза не мозолило. И какое счастье, что у меня другая фамилия, и другой круг знакомых, и никто не спросит: «Что ты сейчас пишешь?»

Любовь? Влюбленность? В моем возрасте? Чтобы люди смеялись?

Вот спустится Бог на землю и спросит: «Что ты хочешь, дитя мое?» А я ему: «Ничего не хочу, Господи. Ни-че-го. А что хочу — не под силу даже тебе: хочу еще раз прожить эту жизнь молодой и взрослой, тридцатилетней. Но я не прошу, потому что знаю — время необратимо».

А зима всё тянется и тянется. Вот уже и март, по календарю весна, а за окном — всё она, зима.

Вечером восемнадцатого марта открыла дневник, чтобы записать что-то в духе вышеизложенного, поставила дату и ...вспомнила: день рождения Армена.

Никогда его не поздравляла. Как это может быть — вспомнила, если не знала? Позвонила. Поздравила. Пригласил. Приехала. Гости, застолье, тосты, разговоры. В застолье со всеми выпила за его жену, которая умерла год назад.

И с этого дня — как будто в розетку включили. Как будто провалилась в свои тридцать. Только эти тридцать мне нравятся значительно больше, чем те, что были. «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Сошлось: знаю и могу.

Могу — всё.

Подошла к бассейну. Вошла в воду и поплыла. Плавать вообще не умею. Никакие попытки до сегодняшнего дня не оказывались успешными. Движения, которые делаю сейчас в воде руками и ногами, недоступны мне в принципе. Но — плыву.

Могу — всё.

Завязаться морским узлом. Выучить японский. Ходить по канату. Что угодно — всё могу. Ключевое слово — «Легко!» Всё — легко.

Писать тоже смогу.

Вошла в бывшую детскую, превращенную с отъездом моей дочери в кладовку, вытащила картонную коробку, на боку которой написано «Творчество».

Достала черный блокнотик, куда записывала — когда-то, когда писала! — планы, наброски, сюжеты, отмечала, когда и где опубликован рассказ. Или не опубликован. Или даже не написан — только задуман.

Рассказ «Старый любовник с дачей и машиной» не написан. Только условное название. А под названием — запись шестнадцатилетней давности: «Тост о женах. И я выпила за Галю, жену Армена. Если бы не она, я никогда бы не стала его любовницей».

Я развешиваю на белой стене слишком красивые, слишком четкие, слишком яркие картинки своей жизни. На них — то, чего не бывает. То, чему не поверят.

Но ведь я это видела: необыкновенно розовое, розовато-лиловое небо, и на этом розовом фоне — черные сосны, прямые, четкие, словно нарисованные одним движением твердой руки.

И там, в северном немецком городке — моя дочь, которой пятнадцать лет.

А мне — снова тридцать. Я не знаю, как это, но это так. Значит, бывает. А поверят, нет ли — какая разница?

Рисунки Ксении Тренкиной

Рима (Мария София Риветта) РЮМЕР

родилась в Санкт-Петербурге.

Окончила историко-филологический факультет Петрозаводского государственного университета.

Пишет рассказы. С 1987 по 1998 год публиковалась под именем «Марина Лишанская»

(альманахи «Мария», сборники «Голоса»,

«Все живое», «Жена, которая умела летать»,

«Какой прекрасный день», «Русская душа»,

ежемесячник «Молодой гений», журналы «Север» и «Карелия».

В 2008 году под именем Рима Рюмер

выпустила «Книгу про нас».

Живет и работает во Фленсбурге (Германия).

